



*Фантастический рассказ*

**Х**отя о метаперламентальной теории теперь много говорят, но все почему-то упускают из виду одну связанную с ней трудность. Должно быть, потому, что слишком близко касается она некоторых противных «вечных» вопросов. Их не любят. От них отворачиваются. А я вот никак не могу разделить общепринятого к ним пренебрежения. Не могу, поскольку сам побывал в несравненно более фантастическом положении, нежели все легендарные личности, начиная от Крона, чьи судьбы, предсказанные заранее, так и не удавалось изменить.

Я не сторонник и не противник метаперламентальной теории и колеблюсь принять ее за истину или за ошибку. Но в одном я убежден твердо: относящиеся к ней проблемы не станут легче, если мы даже отвергнем эту теорию. Ведь очень труд-

но допустить, что такое понятие, как «теперь», существует не только для нас с вами, но и для самого космоса. Почему именно наше с вами «теперь», а не любое другое?

Как бы эту мысль выразить потолковее?

Есть такие слова, смысл которых меняется, когда меняется лицо, которое их произносит. Так, например, если слово «я» произносит попугай — оно обозначает птицу, а если его произносит робот — оно обозначает машину. Если же слово «я» произносится различными людьми, то оно и обозначает различных людей.

Спорят, например, две девочки и твердят друг другу: «Нет, это не твоя, а моя кукла!» В устах каждой из них эта одна и та же фраза имеет свой собственный смысл, иначе о чем же было бы спорить?

Я не предвижу возражений, если заявлю, что и слово «здесь» принадлежит к такого рода многосмысленным словам. Ведь если его произносят на Марсе и не говорят при этом о нашей метagalактике, то имеют в виду какое-то место на Марсе, а если его произносят на Земле, то имеют в виду какое-то место на Земле. И слово это — «здесь» — лишено объективного значения, в том смысле, что нет для космоса такого места, как «здесь». Есть много различных «здесь» для обитателей космоса, но нет никакого «здесь» для самого космоса.

Но можно ли то же самое сказать о слове «теперь»?

Казалось бы, да. Совершенно ясно, что значение слова «теперь» меняется, когда его произносят различные лица. Например, в устах Рамзеса II оно обозначало нечто иное, чем в устах Наполеона I. Но верно ли, что нет для самого космоса такого времени, как «теперь»? Очень трудно думать иначе! Однако, если космос не разделен никаким своим собственным «теперь» на свое прошедшее и будущее, если он существует разом со всем тем, что мы относим к прошедшему и будущему, то тогда все наши поступки в некотором смысле уже совершены. А с этим согласиться тоже нелегко!

Так вот, я убежден, что избежать такого рода проблем насколько не помешает и не поможет даже полное забвение факта движения сознаний вперед и обратно по мировым линиям.

Впрочем, употребляя слово «факт» в связи с таким истолкованием событий преждевременно. Правда, теперь уже метапараментальная теория ни с чьей стороны не вызывает прежних бурных возражений. Даже такой ее непримиримый прежний противник, как мой дядя Мирон Михайлович Магницкий, давно сжился с ней и смирился. Теперь он любит повторять, что упустил возможность поставить очень любопытные опыты. О, тут он прав!

Странное дело. Казалось бы, когда живешь повторно, то не можешь не испытать искушения хоть раз ступить не в ту сторону, хоть пальцем пошевелить не так, как прежде. Но в то-то и суть, что и я и другие находились тогда в каком-то похожем на транс состоянии, когда совершенно не до экспериментов.

Впрочем, это касается лишь вторичных наших переживаний.

Что же до первых «сдвигов сознания по мировой линии», то никто, кроме покойного Николая Петровича Сурина, не мог принять их просто за действительность. Но и Сурин принял их за яркие галлюцинации. Ему казалось, что звоны, издаваемые вибрирующими метеоритами, складывались в тонкую мелодию и она каким-то образом навязывала ему галлюцинации. Я же в звонах третьего слоя метеоритов не уловил никакой гармонии. Сурин же утверждал, что и тогда звучала мелодия, правда, очень сложная и тихая, и я несколько не сомневаюсь, что она звучала на самом деле, а не просто в его воображении. Именно потому, что он ее совершенно явственно слышал, он, обычно на редкость невозмутимый, так горячился, когда убеждал капитана отменить его приказ о торможении корабля.

Я хорошо запомнил день, когда этот приказ был объявлен. Отец пришел с ночной вахты красный от негодования, каким я его никогда не видел. Не поприветствовав нас с мамой, он сразу сообщил, что капитан решил повернуть корабль и лететь к Земле.

— Прекрасно! — обрадовалась мама. — Давно пора возвращаться.

Отец горячо запротестовал:

- Впереди есть еще один слой вибрирующих метеоритов! — Нервничая, он всегда ерошил бороду длинными пальцами. — Иначе бы гравизонд не послал нам этих сигналов. А капитан говорит, что испортился зонд и сигналы недействительны. Это, говорит, мое официальное мнение. И баста! Но нет у него никаких данных о поломке зонда! Нельзя ставить крест на дальнейших исследованиях, когда материал сам в руки идет!

— Но у нас на исходе запасы цезия, — возражала мама.

— Чепуха! — Отец никак не мог успокоиться. — Цезия с лихвой хватит еще на полгода...

Откровенно говоря, я не разделял огорчений отца. Увидеть Землю собственными глазами было самой страстной моей мечтой. Все свои двенадцать лет жизни я провел на космическом корабле и планету моих предков представлял только по рассказам и фильмам. На корабле был специальный зал, где среди кустов малины росли три груши, шелковица и две карликовые сосны. Этот зал величался Рощей. Однажды я свалился с груши, и тогда в Роще поставили шведскую стенку, чтобы мне было куда лазить.

О, как я презирал эти шесть жалких деревьев, малинник и шведскую стенку, посмотрев фильм о тропиках и тайге! Роща стала для меня символом убогости мира, в котором я был рожден.

Детей на корабле не было, кроме меня. Я же родился на одиннадцатом году полета, через два года после выхода экипажа из анабиоза. Возможно, именно благодаря своей единичности, уникальности, я рос тяжелым, пожалуй, даже скверным ребенком. Любимым моим развлечением было притвориться больным и стать, таким образом, центром всеобщего внимания. Со временем эту уловку разгадали. Тогда я стал прятаться, наслаждаясь возникающей суматохой. Однако вскоре догадался, что по малочисленности на жилой палубе потаенных мест меня

тотчас находят и лишь из деликатности делают вид, будто не знают, где я прячусь.

Конечно, честолюбие продолжало требовать своего, и я не оставил стараний во что бы то ни стало возбудить интерес к собственной персоне. В ход шло все: рев в кают-компани, топанье ногами, тайная перенастройка автоматов обслуживания... Чего только не вытворял ребенок, которым был я!

Признаюсь, учиться я не любил. Когда мама усаживала меня за уроки, тетрадки, карандаши, кисточки куда-то исчезали или адски разбалчивалась голова. Трудно приходилось моей маме! Но она была талантливым педагогом. Минут через пятнадцать после занятий я успокаивался и начинал вникать в школьную премудрость. Особенно маме удавались рассказы про великих богатырей поэзии и мысли. Она обладала прекрасной памятью и могла, например, часами читать Гомера наизусть.

Однажды утром, когда мама читала мне сказание об Одиссее и оболстительных Сиренах, отец вмешался в урок, чего он обычно не делал. Он сказал, что незачем было Одиссея привязывать к мачте. Могучий духом витязь не нуждался в физическом принуждении, чтобы противостоять зову пленительной музыки. Мама с отцом не согласилась, и они заспорили.

Забегая вперед, замечу, что испытание, уготовленное судьбой нашему кораблю, отчасти напоминало приключение Одиссея с Сиренами. Однако оно не разъяснило, на чьей стороне в том споре была истина.

Мне, впрочем, кажется, что права была мама. Она считала, что древние превосходно понимали человеческую природу и не могли допускать психологических ошибок в своей классике. Папа же никак не желал поверить в способность музыки лишать самообладания человека развитого и уравновешенного.

Увлеченные спором, мои родители совершенно забыли обо мне, а я обрадовался перерыву урока и побежал помогать Николаю Петровичу, который как раз переселялся в наше крыло. Вернулся я лишь к обеду, успев нашему новому соседу порядочно надоесть. До этого Сурин жил уединенно в хвостовом отсеке, но какая-то неисправность в автоматике заставила его занять каюту над нами.

Это был странный человек. Самым любимым занятием его было упражнение в игре на скрипке. На протяжении нескольких часов из его каюты доносилось однообразное пронзительное пиликанье. С чудовищным постоянством Сурин извлекал смычком две-три всегда одни и те же ноты. И так почти каждый день. Унылым скрипичным пассажем не было конца. Никто из нас уже не надеялся, что Сурин сыграет нам какую-нибудь мелодию.

По убеждению Сурина, истинная музыка заключалась не в пленительном чередовании звуков, не в разнообразии мелодий, а в красоте отдельно звучащей ноты. Высшим достижением музыкальной живописи он считал аккорд, совместное звучание нескольких разных по высоте звуков. Излагая в кают-компани свою теорию музыкальной однозвучности, он обычно заканчивал ее размышлениями о разумном одиночестве человека. Гармония жизни звучит не только там, где соединяются пары

людей. Она может прозвучать и там, где человек находит смысл и счастье в себе самом.

Как-то вечером, когда родители считали, что я уже заснул, мне удалось подслушать интересный разговор. Мама тихо рассказывала отцу, что когда-то давно, на Земле, Сурин долго и безответно любил одну женщину. Мама считала, что эта несчастная любовь и была причиной его меланхолии, выразившейся в увлечении этим странным музицированием...

Разве мог я тогда подумать, что менее чем через месяц собственными глазами увижу любимую Суриным женщину, вернее — ее воздушное изваяние...

На следующий день после того, как отец вернулся с вахты таким рассерженным, к нам пришел в гости Николай Петрович. Приказ капитана, так возмутивший отца, кажется, разгневал Сурина еще больше.

— Я совершенно с вами согласен, Константин Михайлович. Мы останавливаемся перед самым замечательным открытием, — негодовал Сурин. — Этот приказ необходимо отменить!

Николай Петрович был так взволнован, что даже немного заикался.

— Я не перестаю думать об этих атомах-метеоритах каждый день, — стараясь говорить медленнее, продолжал он. — В их шелесте было столько музыки!

— Музыки? — переспросила мама.

— Да, это настоящая музыка! Ее благородные консонансы проникнуты идеей некой космической гармонии. Правда, там еще слышалась сложная мелодия, что уже, по-моему, лишнее. Она отчасти профанировала эту величественную идею!

— Но ведь все вибрирующие метеориты испускают гравитационные волны одной и той же частоты! — Маму настолько заинтересовало заявление Сурина, что она прекратила готовить завтрак и села в кресло. — Для создания мелодии требуется чередование звуков разной высоты...

Сурин стал объяснять:

— Тут проявляется эффект Доплера. Высота звука зависит от скорости его источника. Если источник приближается, звук кажется тем выше, чем больше скорость источника. А если удаляется — все наоборот. Музыкальный инструмент может испускать всегда один и тот же звук, например «до» первой октавы. Но, перемещая его относительно нас с различной скоростью, можно исполнить на нем любую мелодию. То же происходит и с потоками вибрирующих метеоритов. Их скорости неодинаковы и непостоянны во времени. Кстати, как показали исследования вашего супруга, под влиянием процессов в галактическом ядре происходит непрерывное перестраивание всего метеоритного слоя. Может случиться, что математическая структура какой-либо музыкальной композиции совпадет по чистой случайности с математическими соотношениями, которые управляют движением метеоритных потоков. Тогда в шелестении метеоритов появится музыка, сочиненная самой природой.

— Но звуки не могут проходить сквозь безвоздушное пространство, — блеснул я свежими знаниями акустики.

— Мальчик мой, — Николай Петрович снял очки и внимательно на меня посмотрел. — Сквозь вакуум проходят не звуки, а гравитационные волны. Их приемником служат слитки цезия в трюме. Эти волны и заставляют вибрировать наш корабль.

— Метеориты — это большие атомы? — спросил я, повторно блеснув эрудицией.

— Это капитан так считает, — ответил мне отец. — По его мнению, это атомы с чудовищным атомным весом...

Отец так и не стал завтракать в то утро. Переодевшись, он с Суриным пошел к капитану. Я два раза ухитрился прошмыгнуть в командный отсек, но меня быстро выпроваживали. Я так и не понял, о чем Сурин спорил с капитаном. Запомнился только его взволнованный голос и воздетые вверх руки. Казалось, он обращается со своими доводами к самим небесам. Однако капитан не отменил своего решения. Как потом оказалось, он ошибался, но, несомненно, к счастью для всех нас...

В назначенный срок корабельные двигатели были переведены в режим торможения. На другой день меня начали готовить к анабиозу. Первая процедура — стимулирование нервной системы токами высокой частоты — проводилась автоматами. В медицинских покоях мне выделили кресло рядом со стеклянным шкафом, начиненным аппаратурой. За прозрачной дверцей что-то непрерывно жужжало. Понемногу в этот шум стал вплетаться тихий, очень красивый звон. Мне показалось странным, что шкаф так музыкально звенит. Я пододвинул кресло поближе к шкафу и принялся рассматривать сияющие приборы.

Не знаю, сколько я просидел неподвижно перед стеклянным шкафом. Помню, что все предметы в шкафу сделались удивительно четкими. Неожиданно все поплыло куда-то, и яркий вихрь поглотил мое сознание. Казалось, миллионы картин в один миг пронеслись перед моим воображением.

Внезапно я очутился на берегу волшебно́й реки, покрытой листьями кувшинок. Передо мной лежит опрокинутая лодка. В тени ветвистых деревьев чернеют прошлогодние скирды сена. В воздухе носятся шмели, а над водой летают синие стрекозы. Я замечаю на тропинке высохшую, раздавленную лягушку...

Опять наваждение: я оказываюсь на площади. На ней вертятся карусели и перекидные колеса. Народ толпится у палаток, в которых идут кукольные представления. Как удивительно хорошо сделаны куклы! Они кажутся живыми.

Под ближайшим навесом маленькие светящиеся феи танцуют среди картонных стеблей травы. Я не догадываюсь, я почему-то знаю, что там дают шекспировский «Сон в летнюю ночь».

Я узнаю в толпе знакомое лицо и машу рукой, но тут картина исчезает.

И вот я опять сижу в кресле перед знакомым стеклянным шкафом с приборами. Теперь мне ясно, что мелодичный звон образуется не в шкафу, а идет откуда-то снизу, из-под пола. Звон становится громче и призывнее. Я догадываюсь, что на корабле происходит что-то небывалое. Невозможно противиться призывной силе звона. Я бросаюсь к двери. За дверью — площадка, еще одна дверь, за ней винтовая лестница...

Я вспоминаю, что спускаться вниз мне строжайше запрещено. Там сердце и мозг корабля. С раннего детства я намертво усвоил, что мне «там нечего делать». Но оттуда доносятся такие пьянящие звуки, что я окончательно перестаю понимать, что делаю. Кто-то обгоняет меня на лестнице, я иду за ним, но скоро теряюсь в узком изломанном коридоре. Я останавливаюсь перед какой-то дверью. Мне приятно взяться за витую красивую ручку, повернуть ее вниз.

В большой светлой комнате сияют яркие панели. На одной из них горят сигнальные лампы. Рядом стоит капитан. В первую секунду я не узнаю его. Пепельно-бледный, с расстегнутым воротом рубашки, он не похож на себя. Уши у него залеплены какой-то белой замазкой, может быть, и воском, как у спутников Одиссея. Он скользит по мне взглядом, морщится, отворачивается к пульту. Я вижу, как он нажимает на клавиши, и подхожу к светящемуся экрану. Вглядываюсь. В расплывчатой глубине какие-то люди теснятся возле бронзовой двери. Отталкивают друг друга. Стучат кулаками. Они во власти космических Сирен: за этой дверью находится, должно быть, источник дурманящих звуков.

Пронзительный вой гудка разрывает уши. Я прижимаюсь к стене. В комнату вбегает высокий человек в зеленом комбинезоне. Он тянет меня за руку, и мы бежим куда-то по коридору, спускаемся по лестнице. Вой гудка отдаляется, я снова слышу сладкие, призывные звуки, но они стали глуше. Меня уже не так влечет к ним.

На одной из площадок я вижу отца, Сурина и дядю Мирона в изодранной куртке. Меня подхватывают на руки, вносят в полукруглую комнату с низким потолком и опускают в углубление, наполненное шипящей пеной. Я тону в этой пене. Минуту мне удается задержать дыхание. Потом я делаю глубокий вздох и проваливаюсь в небытие...

Трудно поверить, что я проспал двадцать пять лет! Мне же казалось, что не спал и десяти секунд. Вот я вдыхаю наркотическую пену, закрываю глаза и сразу ощущаю себя в сухой прохладной постели. Пахнет утренней свежестью. Где-то хрипло поет петух. Ему тут же отвечает другой — звонко, раскатисто.

Я опускаю ноги на ворсистый ковер и осматриваю комнату. По стенам висят картины в тяжелых рамах. У кровати столик, на нем кувшин с цветами и часы с Сатурном под стеклянным колпаком, радужно сияющим в солнечных лучах. Я открываю шкаф, нахожу ворох одежды, одеваюсь. На мне красная рубашка, короткие шаровары, шелковая шаль вместо пояса и мягкие сапоги, доходящие до коленей.

Ковер скрадывает мои шаги. Я открываю дверь в соседнюю комнату. За пологом огромной кровати кто-то тихо похрапывает. Я узнаю дыхание отца, возвращаюсь в свою комнату, прикрываю дверь. Подхожу к окну и раздвигаю шторы.

Совсем недалеко за пышными кронами деревьев сияют воды реки. Окно довольно высоко над землей. Верхние ветки не достают до подоконника. Я собираюсь с духом и прыгаю в

зеленую кипень кустов. Поцарапанный, но гордый своей смелостью, я поднимаюсь с земли и, прихрамывая, бегу к реке.

Никогда я не забуду неистового наслаждения, испытанного на этом берегу! То была волшебная, кристально чистая река, покрытая листьями кувшинок. Я стоял возле опрокинутой лодки и впитывал благоуханный воздух. Повсюду в траве мелькали голубые зрочки незабудок. В тени ветвистых деревьев чернели скирды прошлогоднего сена. В воздухе носились шмели и стрекозы.

Тропинка вывела к устью оврага. За ним, по склону поросшего кустарником берега, поднималась дорога, начинаясь от дощатого помоста, к которому было причалено несколько лодок. Я шел вверх по дороге, увязая в тонкой пушистой пыли.

Наверху — заросли красной бузины. В отдалении зеленел большой парк, обнесенный бедой оградой. Вместо ворот — две витые колонны. Главная аллея встретила меня порывистым шумом ветра в верхушках столетних лип. Я остановился и прислушался. Кроны деревьев не пропускали солнца. Что-то необыкновенно грустное было в этих прохладных сумерках пустой аллеи, и что-то таинственное скрывалось в темно-зеленой глубине кустов. Я побежал в самую гущу зарослей, топчa цветы и виноградные листья, устилавшие землю. Мне казалось, я снова слышу сладкие звоны, раздававшиеся на корабле.

Ветки больно хлестали по лицу, по коленям... Наконец я остановился и побрел назад, ища аллею. Обходя огромный куст жасмина, я споткнулся о мраморный порог беседки. Когда я подымался, растирая рукой ушибленное колено, мне на мгновение показалось, что я вижу над кустами женский силуэт. Тень двигалась по воздуху, таяла на глазах.

В центре беседки стояла мраморная статуя высокой, стройной женщины. Она выглядела печальной и какой-то даже болезненной. И все же она была удивительно красива. Я обошел статую, протянул руку, чтобы коснуться пальцами холодного камня... Моя ладонь прошла сквозь воздух. Статуя исчезла, растворилась в хлынувшем на меня потоке солнечного света. Беседка тоже исчезла, пропали кусты жасмина и старая липа с отпиленными нижними ветками...

Я стоял на большой поляне. Вокруг меня в вихре быстрого танца кружились маленькие фигуры. Передо мной танцевали тени детей. На краю поляны, у призрачной стены несколько музыкантов играли на скрипках. За темно-красным пианино сидела девочка с голубым бантом на голове, чем-то очень похожая на мраморную красавицу в беседке. Рядом с ней стояли два мальчика: один маленький, лохматый, с круглым добродушным лицом, другой худой, с большими живыми глазами, очень напоминавшими мне взгляд Сурина. Мальчик, похожий на Николая Петровича, что-то сказал девочке. Она засмеялась, подбежала к колонне, увитой виноградом, и потянулась за яркой желтой кистью винограда...

Девочка с голубым бантом, фигуры детей, музыканты — все медленно тает в воздухе. И вот снова льются сверху солнечные лучи...

Я вижу деревянную пристань у моря. По морю плывут белоснежные суда, похожие на огромные раковины. На пристани



двое молодых людей. Я узнаю их. Это только что исчезнувшие мальчики, которых я видел возле пианистки с голубым бантом. А вот и она сама, превратившаяся в девушку. Она бежит по лестнице к причалу. Юноша, похожий на Сурина, поднимает руку. Девушка машет ему и сбегает по лестнице...

И снова все исчезает. И новое видение.

Раздвигая осоку, к берегу пруда подплывает лодка. Из лодки выходят круглощекий мужчина и молодая женщина с роскошными волосами. Это она! Я узнаю лицо статуи в беседке.



Женщина собирает цветы, потом возвращается и хочет прыгнуть в лодку, но, поскользнувшись, падает навзничь, на камень. Ее спутник пробует ей помочь встать, но она не может двигаться. Тогда он берет пострадавшую на руки и переносит в лодку. Густые рыжие волосы обрамляют ее бледное, без кровинки лицо...

И вот полутемная комната. Возле зашторенного окна стоит широкая кровать. На белой подушке копна рыжих волос. Лица не видно, но это она! Я угадываю любимую Суриным женщину по тонкой кисти руки на бордовом одеяле. Большая дергает шнурок, и шторы раздвигаются. Свет падает на резную дверь, дверь отворяется, и входят двое мужчин — круглощекий и другой, тонколицый, в котором я без труда узнаю Сурина. Больная что-то говорит. Сурин берет со стола скрипку и играет...

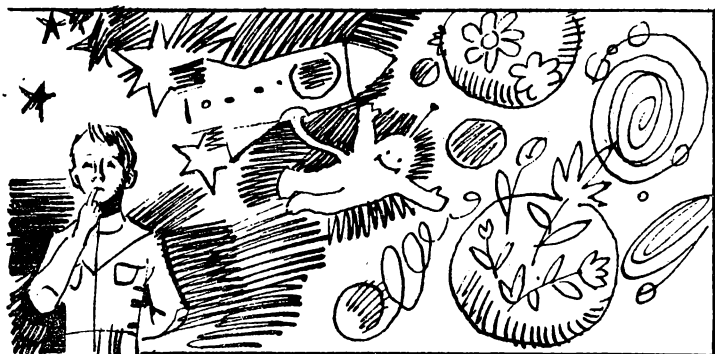
Потом появляется новая картина, но я не успеваю ее рассмотреть, потому что вдруг снова, как тогда на корабле, проносится вихрь мгновенных, каких-то вывороченных ощущений, и я слышу рев гудка на космическом корабле. Я бегу по лестнице, влекомый за руку высоким человеком в зеленом комбинезоне. На лестничной площадке я вижу отца, Сурина и дядю Мирона в изодранной куртке. Меня подхватывают на руки и вносят в полукруглую комнату с низким потолком. И все прожитое мною с тех пор в точности повторяется.

Вот я тону в шипящей пене, вдыхаю ее и тут же засыпаю на четверть века.

Я просыпаюсь в солнечной комнате, как и в первый раз, выпрыгиваю в окно, бегу к реке. Подымаюсь по пыльной дороге на высокий берег. Иду по печальной аллее скорбного парка...

Когда померкла сцена, в которой Сурин развлекал больную игрой на скрипке и в воздухе явилась коляска с двумя лошадьми, мне вдруг показалось, что я вот-вот пущусь в повторное странствие по пройденному уже жизненному пути. Но это чувство миновало, и я увидел продолжение.

Коляска подъехала к чугунным воротам и остановилась.



Из ворот выбежала молоденькая девушка, обняла огненноволосую гостью, и они направились в сад, сели на скамейку и увлеченно о чем-то заговорили. А между тем в стороне беззаботно и легко закружился рой высохших листьев. Листья вертелись все быстрее, закрыли собой собеседниц и слились наконец в сплошной желтый круг. Внезапно он рассыпался на тысячу искр, померк, и тогда снова явилась мраморная статуя под старой липой в беседке...

Мне стало невыразимо грустно. Я тихо, пятясь, вышел из беседки. Передо мной на земле квадратная плита серого песчаника, черная вязь слов: «Анастасия Ивановна Яхромская. Родилась 16-III-2106 года. Скончалась 18-IX-2135 года»...

Обычай ставить на кладбище памятники, показывающие голографическим способом картины из жизни умершего, завелся еще до отлета с Земли нашего космического корабля. Я до сих пор не могу привыкнуть к этому обычаю. Слишком жива боль невозвратимой утраты, когда умерший на минуту как бы воскресает перед вами. Но, может быть, эта боль лучше душевной апатии?..

Впоследствии из рассказов я узнал, что Анастасия Ивановна Яхромская была замужем за преподавателем художественного

училища — Павлом Васильевичем Яхромским. Сурин и муж Анастасии Ивановны учились в детстве в одной школе и подерживали между собой близкую дружбу. Поженились Яхромские в 2127 году, когда Сурин был в отъезде. Однажды, катаясь на лодке, Анастасия Ивановна неудачно упала на спину, повредив себе позвоночник, отчего более двух лет неподвижно пролежала в постели. Во время болезни Анастасию Ивановну часто навещал Сурин. Иногда он улаживал больную игрой на скрипке. Сурин с детства был равнодушен к Анастасии Ивановне, но теперь мало-помалу его любовь достигла такой силы, что он почувствовал невозможность продолжать свои встречи с Яхромскими и решился навсегда расстаться с ними, отправившись в космическое путешествие.

Анастасия Ивановна была до крайности удручена разлукой и, хотя старалась это скрыть, все же некоторыми поступками дала мужу повод догадаться что любит Сурина. Будучи истинно великодушным человеком, Павел Васильевич стал упрашивать жену лечь под анабиоз, чтобы дожидаться возвращения любимого человека из космического полета. Анастасия Ивановна не соглашалась на это.

Она скончалась от болезни, связанной со старой травмой позвоночника.

Прочтя на плите надпись, я предался грустным размышлениям, не слишком, впрочем, продолжительным. Я чувствовал себя очень утомленным от обилия впечатлений и решил поскорее вернуться домой. Идя по парку, я еще несколько раз наблюдал голографические видения, но нигде больше не останавливался и вскоре вышел к воротам. Оглядевшись, я двинулся в обратный путь.

Спускаясь с холма, я остановился, чтобы пропустить странную процессию. Мне навстречу шел по дороге мальчик лет десяти, держа в руке много тонких веревочек. К ним было привязано с полсотни маленьких, ростом не более полуметра, необыкновенных человечков, разряженных в диковинные костюмы. Они мерно маршировали по дороге, высоко подымая свои запыленные ножки. Тут были уродливые лысые горбуны, и одетые в белое юноши с напудренными лицами, и миниатюрные красавицы с фантастическими прическами, и запорожцы в широченных шароварах, и бородатые индусы в тюрбанах с павлиньими перьями. Я никогда не видел ничего подобного и очень удивился. Когда мальчик поравнялся со мной, я с некоторой робостью спросил:

— Простите за беспокойство. Скажите, пожалуйста, кто такие эти люди и почему вы их связали? И куда вы их ведете?

Мальчик недоуменно посмотрел на меня, пожал плечами и ответил:

— Это вовсе не люди, а механические куклы. Мне одному скучно купаться, вот я и беру их с собой на берег реки. Теперь мы возвращаемся в театр. Ты разве никогда в нем не был?

— Нет.

— Странно!

Мальчик поспешно задержал веревочки. Удивительная колонна замаршировала быстрее и скоро скрылась за холмом...

Вопреки ожиданиям мое утреннее отсутствие не только никого не удивило, но осталось незамеченным. Отец все еще спал, а мать совершенно спокойно окликнула меня из окна, когда я подходил к дому. Очевидно, она решила, что я только сейчас пробудился от анабиоза и вышел в сад обыкновенным путем, через дверь...

Странное дело! Эти механические куклы занимали мое воображение в гораздо большей степени, чем все остальное.

Я весь был наполнен ими и на следующий день, когда отец и явившийся к нам в гости дядя Мирон расспрашивали меня о моих переживаниях. Сами они, хотя тоже испытали «смещения сознания по мировым линиям», но гораздо менее продолжительные, чем мои по субъективному ощущению времени. Вообще, должно быть, кроме меня, один лишь капитан из всех участников полета не минуто-другую, а целые часы прожил повторно. Это обстоятельство и сделало его способным всерьез поверить в свою идею, которая сперва пришла ему в голову лишь в качестве совершенно фантастической абстракции.

Немало пришлось отцу и дяде Мирону преподавать мне новых истин, прежде чем я пожелал ответить на их вопросы. Я шалил, дурачился, пока они не сочли необходимым разъяснить мне суть метаперламентаальной теории. Самую трудную часть объяснений взял на себя дядя Мирон.

— Знаешь ли ты, что такое мировая линия? — обратился он ко мне, чертя пальцем в воздухе.

— Знаю, — ответил я, болтая ногами. — А почему вы теперь старше папы, а раньше были одинаковые?

— Потому что на пути корабля оказалось большое скопление атомов-метеоритов. Чтобы его облететь, понадобилось изменить маршрут. Пришлось очень долго вести корабль вручную, поэтому весь экипаж не мог одновременно лечь под анабиоз. Я лег на пять лет позже папы. А наш капитан и Николай Петрович Сурин — ты помнишь Сурина? — они вообще под анабиоз не ложились...

— Значит, они теперь, наверно, старые?

— Они уже умерли. Сурин умер три года назад, еще в космосе, а капитан умер в прошлом году, уже на Земле...

— Так сколько же я проспал на Земле под анабиозом?

— Почти целый год.

— Почему так долго?

— Потому что по измененному маршруту корабль вернулся на Землю годом раньше, чем предполагалось. На пути корабля оказалось гравитационное поле от нескольких черных дыр. Оно разогнало нас до огромной скорости.

Я задумался.

— Мировая линия — это которую пряла богиня Клото — одна из трех Мойр. Она была дочерью Зевса и Фемиды, дочери Урана, — заявил я после некоторого молчания.

— Нет, ты ошибся, — ответил мне дядя Мирон, улыбаясь, — богиня Клото пряла не мировую линию, а нить жизни. Но должен признать, что это две очень похожие вещи. Мне это как-то не приходило в голову.

— Я уже знаю! Знаю! — закричал я с торжеством, вспо-

мнив один из уроков по физике. — Мировая линия — это траектория тела в пространстве-времени!

— Отчасти правильно. Но я хочу, чтобы ты понимал суть дела.

Дядя МIRON взглянул на потолок и продолжал:

— Вот видишь, по потолку ползает муха?

— Вижу.

— Очень хорошо. Теперь представь, что перемещение на один сантиметр вниз соответствует секунде времени.

— Я не понимаю...

— Неважно. Веди мысленно линию от мухи вниз так, чтобы ее конец оставался бы все время на одной вертикали под ней, как бы она ни ползала. Но при этом он каждую секунду должен опускаться вниз на сантиметр. Чуть упрощая дело, можно считать, что это и будет мировая линия мухи.

— А если муха станет летать?

— Тогда ничего не выйдет. Но сейчас она еще ползает по потолку.

— Сейчас она сидит на месте.

— Значит, ее мировая линия движется вертикально вниз со скоростью один сантиметр в секунду.

— А теперь она поползла к окну.

— Значит, ее мировая линия пошла теперь наклонно, в сторону окна.

— А если муха все-таки станет летать?

— Тогда нам придется перебраться в четвертое измерение. Вообрази три координатные оси, одну — направленную вверх, другую — вперед, а третью — вправо, и предположи, чисто формально, что есть еще одна ось, перпендикулярная к этим трем. На ней мы будем откладывать время.

— Один сантиметр по ней считается за секунду?

— Ну, хотя бы так. И тогда мировая линия мухи протянется между этими четырьмя осями.

— Я помню! Отметки на пространственных осях определяют положение точки в пространстве, а отметка на оси времени определит соответствующий момент времени, — отбарабанил я когда-то слышанную фразу.

— Правильно, только надо было сказать не «точки», а «мухи». Мы же говорим про муху.

— А муха же большая.

— Ну, значит, ее мировая линия будет толстая.

— А у человека мировая линия совсем толстая?

— Вообще-то правильнее было бы говорить про пучок мировых линий. Впрочем, это не так уж важно...

— А наш капитан придумал метаперламентальную теорию перемещения сознаний по мировым линиям, но вы с этой теорией не согласны!

— Зачем ты произносишь слова, которых не понимаешь? Наш капитан предположил, что имеется не одно, а два времени. Однако мы этого не замечаем, потому что все процессы, в том числе и наше сознание, обычно протекают абсолютно

симметрично по отношению к обоим временам. Поэтому тот факт, что существует не одно время, а два, обычно ни в чем не проявляется. Но когда мы были вблизи тех гигантских атомов-метеоритов, их совокупное излучение как бы толкнуло наше сознание, нарушив симметрию этого процесса относительно двух времен. Получилось так, что по отношению к одному из этих времен наше сознание задвигалось взад-вперед по мировой линии нашего тела в дополнительном пространстве-времени...

— Вот ты на что обрати внимание, — сказал отец, трогая меня за руку, — мировая линия тела — это в некотором смысле само тело и есть. Ведь это просто совокупность всех занимаемых телом пространственно-временных точек. Поэтому даже и при возвратном движении сознания по мировой линии оно вовсе не покидает тела. Более того, по метаперламентальной теории и самое обычное человеческое чувство движения времени происходит от движения сознания по мировой линии тела в дополнительном к каждому из двух времен пространстве-времени...

— Но с этой теорией вовсе не обязательно соглашаться, — заметил дядя Мирон. — Я, например, решительно с ней не согласен. Полный, абсолютный детерминизм...

— А я согласен! — выкрикнул я с ликованием. — Мое сознание целый день двигалось взад-вперед по мировой линии. А у реки, там, за окном, я побывал у перевернутой лодки еще до теперешнего времени уже три раза!

— Ну так расскажи! — в один голос воскликнули папа и дядя Мирон.

Однако я предпочел туманное изложение моих собственных космогонических идей, замечая время от времени, что поскольку они являются истинами в последней инстанции, то нет особой нужды обращать много внимания на факты. Папа слушал, слушал и наконец не выдержал.

— На факты всегда надо обращать величайшее внимание! — воскликнул он. — А кто этого не делает, тот непременно рано или поздно останется в дураках!

— Ты пойми, что нам очень важно знать все, что ты испытал, — сказал дядя Мирон.

— Твои впечатления имеют громадное значение для науки, — подхватил папа.

— Причем почти в равной мере для всех наук, — добавил дядя Мирон.

Очень польщенный моим огромным значением в равной мере для всех наук, я принялся рассказывать и завершил рассказ описанием встречи с механическими куклами...

Мне не раз доводилось их видеть с тех пор. Больше они уже не производили на меня того первого разительного впечатления. Но я хорошо знаю, как мне их суждено однажды увидеть.

Я буду тогда стоять посреди наполненной солнцем и людьми пыльной площади с вертящимися на ней каруселями и дух захватывающими перекидными колесами. Народ будет толпиться

возле шалашей и смотреть кукольные представления. Я непременно удивлюсь тому, как хорошо сделаны куклы. Они мне покажутся живыми. В ближайшем шалаше будут давать шекспировский «Сон в летнюю ночь», и маленькие светящиеся феи поведут там свои хороводы между высокими картонными стеблями...

В снующей толпе покажется знакомое лицо, и я помашу тому человеку рукой. И может быть, затем я снова услышу межзвездные звоны и опять окажусь на космическом корабле перед шкафом с медицинскими приборами. Но тогда я уж постараюсь не упускать возможности поискать богиню Клото...

